

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



# Александр Иванович Куприн

## Гусеница

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2545865](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2545865)*

### **Аннотация**

«Не особенно давно, весною прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу – фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая разворачивалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах – словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья...»

# Александр Иванович Куприн Гусеница

Не особенно давно, весной прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу – фотографический альбом для руководства филеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстененькая книжка, которая развертывалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах – словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни Февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака.

Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филлоксере. Помню, меня очень заинтересовала разница в выражении лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа: «Поглядите, какая странность: у всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фо-

тографировали их в охране сейчас же после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастопольские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты их лица и что за прекрасное выражение в этих ясных, таких *человеческих* глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения... и – взгляните – какая мягкая, какая естественная женственность! Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уже перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавчонки ревет пресопливый, прегрязный мальчишка, бутуз лет пяти, – потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше, на суровое, не женское дело, на смертный путь, на Голгофу».

Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво:

– Да, это так. Я в партии, собственно, не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали: я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя, неиссякаемая святая теплота. Я замечал, что бесчестный человек, лжец или трус, не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях, под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея, и овладевает не так, как мужскую душу, частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца... Да, да, да... Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыденной, земной, тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое, деятельное сострадание подняли, всего на минуту, ее душу к небесам. Хотите, расскажу? Это коротко.

Так вот: время действия – осень 1905 года, место – южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, недалеко от Севастополя. Теперь там большой при-

морский и виноградный курорт, а тогда это дело только еще начиналось, но все-таки было в поселке пять кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко, вроде сарая, трое докторов, больница, аптека, фотография, два училища, почтовое отделение, библиотека... вот, кажется, и все.

К осени все виноградные больные разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, да мы – случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоесть друг другу, но все-таки сходились, распивали чаи, шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух, как новость, содержание передовиц из либеральных газет – словом, делали все, что полагается русским передовым человекам, томящимся в собственном соусе. Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель... Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги – налопаются белого вина, как лошади, и ходят гурьбой, обнявшись, по набережной и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон:

Ах, зачем нас забрали в солдаты,  
Посылают нас на Дальний Восток?

Неужели мы в том виноваты,  
Что вышли ростом на лишний вершок.

Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал и потому весь был пропитан едкой и нетерпеливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на Шпалерной, и этот революционный стаж вместе с его язвительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Все мы значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым.

Особняком держалась его жена, Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распустеха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет никогда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым неприкрытым образом. Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно... Надо сказать правду, нехорошо это у него выходило. И все из пустяков. Скучала очень Ирина Платоновна на юге, изнывала вся, особенно когда задувал на неделю ветер монтано; места себе, бывало,

не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке. Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи: «А у нас, говорит, в Зарайске, крыжовник теперь поспел, большущий такой да мохнатый. Его хорошо в сиропе из вишневых листьев варить». А Борис усмехнулся, криво, одной щекой, и съехидничал: «Ты не женщина, а гусеница. Ты пяденица крыжовниковая – *abraxas grossulariata*. Вот ты кто». Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее Гусеницей. Конечно, в добром смысле. Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет: «А как наша добрая Гусеница поживает?» И правда, была она самого ангельского характера. Вспоминаю я ее живо: всегда в широком капоте, с открытой жирной, белой шеей, а перед платья непременно стеарином закапан. И всегда она, с утра до вечера, теряла и искала свои ключи. «Ах, куда я мои ключи девала? Господа, не видал ли кто, куда я ключи положила?»

Но замечательно вкусно кормила. Такой кефали, жаренной на шкаре с помидорами, я нигде не ел.

Так-с. А тут пошли большие события. Началась все-российская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре конституцию объявили: куценькую, правда, лживенькую, но и то какие упования были! Да и все это время... я про те-перешнюю революцию ничего не скажу... дело весе-



лое. Но тогда, тогда!.. Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то... И сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры!

Вдруг вспыхнуло восстание в черноморском флоте. Шмидтовские дни... Потом расстрел «Очакова». Каноида и до нас доносилась, даром что мы в тридцати верстах жили. По морю гулко звук идет, а дни стояли безветренные.

А на другой день после «Очакова» Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Муру зов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз, – именно та глубокая человеческая красота, и ласка, и чистота, все, о чем вы вот сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул: «Это товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это мои приятели, люди порядочные, на них можно положиться».

Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на «Очакове», как он объезжал корабли с адмиральского

борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу, но глаза блестели, точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели заживо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться – вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь десятеро из них здесь, неподалеку, спрятались в балке, в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. «И затем скройте их на несколько дней, рассейте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте, думайте! Шевелите головами, товарищи. Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дела свыше головы».

И уехала. Ах, какая умница она была, какая пре-

лесть, какая отреченная от себя, какая повелительная. Другая ее партийная кличка была «Конфетка». Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк.

Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия, собственно, не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел, и пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна!..

– Трус, не прячься за угол, – твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь – не надо, тебя никто не осудит, ты человек больной. Но молчи, ради бога, молчи и не стыди ты меня!

Ну и принялась же она за дело. Кипяток! В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжала, выкрутила из них все, что только возможно по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались: «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки. Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей». Старая песня. Но она вцеплялась

в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов проклинаете в тряпочку? А «Вставай, подымайся» напеваете шепотком? Ну вот вам, поднялся народ, встал. Чего еще хотите? Так и помогайте ему. От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкина чулка».

Потом она удивительно ловко распорядилась до­ставкой одежды матросам, залегшим в кустистой бал­ке. Переодетые, они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачи­вать. Трех она направила в больницу, тогда, по сча­стью, пустовавшую, двух к фотографу, а пятерых на время приютила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, кряжистый, но очень уже они были из­нурены: глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвиж­ный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно бы­ло, что все они мыслью, воображением еще там, в ог­не, в ночном море, близко-близко от смерти.

Они сидели за непокрытым столом, а мы жались во­круг, растерянные, неумелые, какие-то деревянные, неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словес­ный диспут на тему – кто кого главнее, эсдэки или эсе-

ры, и кому из них человечество обязано Черноморским восстанием, – глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят, и молчат, и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут, спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем. Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! «Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребяташки, тяпнем после трудов праведных». Кто-то было захотел возмутиться: «Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве». Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления. А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжите, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало.

А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке пароконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на плантаж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да, вероятно, это так всегда и бывает: когда человека обуяла и точно электричеством его переполнила великая, самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и события. Не правда ли?

Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь, как бутылка к горлышку, сужался к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городской Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через тридцать шагов, справа от шоссе, находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель. Он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он,

дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно, как в прописи».

Ирина Платоновна и я проводили свою партию, четырех матросов, довольно далеко, верст за восемь. Мы остановились тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора «Василь-дере» и расслышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью. Было холодно. Трава обиндевила и торчала белой жесткой щетиной.

Ирина Платоновна одного за другим, молча, перекрестила всех четырех. И они молчали, обнажая стриженные головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовничная!

И, замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку – брат. Одно море их просолило. Позднее стали показываться в поселке жандармы.

Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаки, завел с ним тонкий, ухищренный разговор. Он-де матрос с «Очакова», тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей... Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги. И сказал после долгой паузы:

– Дурак. Штаны надел на выпуск, а нашпорники забыл.